

## АРХИВНЫЕ РАЗЫСКАНИЯ

*В. Н. ТУРБИН*

### ПО ПОВОДУ ОДНОГО ПИСЬМА М. М. БАХТИНА

Продолжая публикацию обращенных ко мне писем Михаила Михайловича Бахтина, считаю необходимым сказать о том, чем вызван ее, этой публикации, несколько эксцентричный характер: я не соблюдаю хронологической последовательности и не пытаюсь сосредоточить все, чем я обладаю, в каком-либо одном из выходящих ныне бахтиноведческих изданий — сборников, альманахов. Более поздние письма появляются прежде более ранних, а печатаются они в разных городах, в разных странах: я начал в сборнике, который должен выйти в Югославии, но он задерживается в связи с трагическими событиями, на эту землю обрушившимися; далее последовал сборник, изданный в Санкт-Петербурге: "М. М. Бахтин и философская культура XX века. Проблемы бахтинологии. С-Пб, 1991, выпуск первый, часть 2". Будет публикация во второй книге "Бахтинских чтений", собираемых ныне в Москве. Сейчас — Витебск; затем одно или два письма я намерен опубликовать... в Канаде. В результате получается, что мои публикации писем Бахтина окажутся растянутыми на несколько лет и рассредоточенными на пространстве от Москвы до Белграда или Нового Сада, от берегов Невы до берегов реки Св. Лаврентия.

Я считаю, однако, что неупорядоченность, даже хаотичность моих публикаций — как раз то, что сейчас не только позволительно, но и необходимо. В подобном порядке, вернее, антипорядке есть элемент какой-то интеллектуальной игры, затеи, элемент диалога с гипотетической, обобщенной фигурой, с бахтинологом-систематизатором, с биографом скрупулезным, дотошным: сей неведомый, еще не появившийся среди нас исследователь должен будет идти по моим следам, совершая мысленные, а то, глядишь, и реальные путешествия из Витебска в Оттаву. Несомненная всемирность научных откровений Бахтина получит таким образом наглядное выражение. Впрочем, никто не возражает со временем и мне самому вернуться к уже сделанным публикациям и попытаться придать им требуемую академической традицией чопорность; тогда можно будет и заново прокомментировать письма, которые я когда-то с понятным волнением вынимал из почтового ящика или бережно брал из рук добродушнейшей почтальонки-татарки (любопытно, что Михаил Михайлович всегда предпочитал заказную корреспонденцию). А может быть, я распорядюсь ими и по-другому: включу их в книгу о Бахтине, написать которую я, как это становится все более и более очевидным, обязан. Но здесь вырисовываются препятствия, преодолеть которые будет весьма нелегко.

Во всем, что касается деяний и памяти Бахтина, мною руководит сила, вне меня пребывающая. Поначалу она удерживала меня от каких бы то ни было высказываний, суждений о великом моем современнике. Проведя рядом с ним двенадцать последних лет его жизни, я

молчал о нем в течение последующих пятнадцати, а то и семнадцати лет: именно этот срок понадобился мне для посильного постижения хотя бы периферийных сторон мистической сущности личности уникального мыслителя. Сказать о нем нечто определенное я могу лишь теперь. Внутренне к работе над книгой о Бахтине, стало быть, я готов; но проблема создания такой книги имеет еще одну сторону: общество должно ощутить в ней потребность, дорасти до нее.

Я печатаюсь более сорока лет, но меня не знают ни у нас, ни на Западе; мое имя заставляет зарубежных русистов недоуменно переглядываться. При знакомстве меня деликатно спрашивают, чем именно я занимаюсь, и в ответ я принимаюсь длинно и путанно объяснять: в современных науках гуманитарного цикла первичен не объект, а метод познания; Бахтин вел борьбу с тоталитарным чудическо-государством в той области знаний, где оно неизменно было особенно агрессивно и безжалостно до конца, — в области ме-то-до-ло-ги-и. И победа изначально оставалась за ним, за его социологической поэтикой. Далее приходится пускаться в рассуждения об этой диковине, и, казалось бы, лежащей у всех на виду, и эзотерической, скрытой; но как раз тут мои собеседники теряют терпение, заметно скучнеют и, сочувственно поддакивая мне, начинают рассеянно поглядывать по сторонам. Я же в их глазах продолжаю оставаться каким-то литературоведом-невидимкой, одиночкой, которого порой посещают экстравагантные мысли. Моя творческая драма заключается в противоречии между методологической ориентированностью моих выступлений и отсутствием у моих современников осознанной потребности в методологии.

Уже долгое время гуманитарный мир пребывает в состоянии некоего методологического транса, доходящего до полной прострации индифферентизма к методологии. Да, его до поры, до времени скрывает чисто внешняя суета: там и здесь собираются всевозможные конференции, съезды, конгрессы, симпозиумы; и ученые разных стран встречаются, обмениваются наблюдениями, учиняют дискуссии, спорят. Спорить-то они спорят, но сейчас, я полагаю, на всем белом свете не отыщется и трех-четырех ученых, способных и желающих ответственно и внятно назвать метод, который они культивируют. Преобладает же некая ни имени не имеющая, ни границ своих не знающая, ни целей нигде не декларировавшая аморфность, некая “эстетика вообще”, некое “литературоведение вообще” — словом, некая усредненная “наука”, о которой принято говорить с благоговейными интонациями и, желательнo, подъяв пухлый указующий перст. И однако же ни многозначительная патетика интонаций, ни аккомпанирующие этим интонациям жесты не могут компенсировать внутренней бессодержательности и бесперспективности подобной науки.

Понятно, отчего она утвердилась на нашей, на Российской много-страдальной земле: уже с середины 20-х годов здесь начала угрюмо и бесповоротно утверждать себя единая методология, всепроникающий и всеокрушающий марксизм-ленинизм.

Но чем объяснить атрофию каких-бы то ни было серьезных методологических запросов и интуиций на Западе? Между тем, они атрофировались и там; и почти невозможно внушить современному европейскому или заокеанскому гуманитарии мысль о необходимости методологического плюрализма в историософии, в эстетике или литературо-

ведении. Ему чудится, будто методологическое самосознание ограничивает исследователя, сковывает, а то даже и обезличивает, ибо он непременно включается в какое-то множество, в какую-то группу. Индивидуальность его, таким образом, начнет нивелироваться; а типичный западноевропейский гуманитарий относится к своей индивидуальности приблизительно так, как добродетельная старая дева относится к своей девственности: то и дело мерещатся ей посягательства, покушения, гнусные домогательства. Возникает и другое опасение: а не означает ли методологическая нацеленность исследователя еще и предвзятости, не ведет ли она к насилию над исследуемым материалом, к подгонке его под заранее заданные методологические доктрины?

Разумеется, подобные опасения необоснованны. Напротив, обладание методом, служение методу обычно как раз и оказывается фундаментом, основой творческой личности ученого-гуманитария. Метод формирует ее, и нетрудно заметить: чем последовательнее служил ученый найденной им методологии, тем полнее и ярче обрисовывалось его "я"; ироник-формалист Борис Эйхенбаум и экстатический марксист-ортодокс Валериан Перверзев... Как ни относиться к существу исповедуемых ими доктрин, уж им-то не откажешь ни в самообытности, ни в творческой смелости. Их яркость прямо пропорциональна их убежденности; думается мне, что методологический плюрализм умирает вследствие атрофии в нас идеи служения чему-то духовному, идеи жизни как ноши, как несения креста, как жертвоприношения. Для Бахтина же его методологические откровения были именно ношей, крестом. Бременем, в состав коего частично входил и марксизм.

Социологическая поэтика Бахтина — явление огромной исторической значимости. Обозначение, имя этого методологического феномена мистифицирует и... устрашает. Со-ци-о-ло-ги-че-ска-я по-э-ти-ка? Упоминание о социологии тут же вызывает в памяти представление о чем-то историко-материалистическом, о марксизме; а упоминание о поэтике — представление о поэтике аристотелевой, статической, инертной и всегда прогибаемой изнемогающими от нее учащимися. И мистификации эти, и сопутствующие им страхи надо понять и как можно скорее развеять. Да, Бахтин социологичен. Но он поступил с марксизмом так, как — я не нахожу другого сравнения! — герой повести нежно любимого им Гоголя однажды поступил с забавником-чертом: оседлавши черта и пришпоривая его, он понудил мерзавца сослужить себе весьма нужную службу. Бахтин взял у марксизма мысль о всепроникающей социальности художественного высказывания. И однако же когда Бахтин говорит о социально-исторических аспектах образного мышления, он имеет в виду всего прежде некую фазу, некий тип... общения человека с Богом, — ясно, что к такому пониманию социологии мы не привыкли. И не менее неожиданна в учении Бахтина поэтика. Она предполагает многомерность мира. Она принципиально мистична. А центральное понятие э/сте/тики Бахтина, понятие диалога, базируется на вере в возможность общения смертных не только друг с другом, но и с мирами иными: ясно же, что идеальный хронотоп столь часто упоминаемого в последнее время "другого" — это хронотоп "того света", ибо, в сущности, только в случае нашего контакта с обитателями миров иных гарантирована их безусловная и полная "дружественность".

Разумеется, методология Бахтина являет собою и ответ на опустошительные акции тоталитарной системы. Но Бахтин не может быть детерминирован, объяснен его временем. Бахтин шире. Он экстраничен. И "Большое время", в котором он жил, — это не просто множество лет, столетий; речь идет о некоем неведомом нам *качестве времени*. Бахтин — явление, родившееся в ответ на вступление человечества в длительную фазу забвения Бога, в эру духовного опустошения, с которым, несомненно, и связан методологический паралич, охвативший ныне гуманитарное знание.

Мое слово, суждение о Бахтине не должно быть воспринято как суждение человека, неизвестно откуда взявшегося и неведомо чем занимающегося. Значит, книге о Бахтине должен будет предшествовать период авторепрезентации. Запоздалой, конечно. Но необходимой. Меня должны знать хотя бы несколько моих коллег и у нас, в России, и на Западе тоже. Начиная хотя бы с моих работ 60-х годов, этих крохотных астероидов, сопутствовавших восхождению звезды Бахтина, до триптиха о Пушкине, Гоголе и Лермонтове ("Пушкин, Гоголь, Лермонтов", М., 1978) и до рассуждения о героях Гоголя ("Герои Гоголя", М., 1983). Эти вещи подсказаны были Бахтиным, его духом они овеяны, как бы ни были они искажены удушающими годами гниения и маразма. Там мерцает методология. Разумеется, представленная фрагментарно. Поначалу создававшаяся наугад, но затем от года к году принимавшая все более и более осознанный и заверченный характер. Только будучи услышан и понят в качестве ее носителя, я сочту себя вправе выступить с завершенной работой о Бахтине; моя книга о нем должна быть моею последней работой.

Вероятно, более, чем кто-либо другой, представляя себе и меру значительности Бахтина, и характер его уникальности, я настаиваю: без меня никогда не будет полна не только его бытовая, но и духовная его биография. Не скрываю того, что заведомым эксцентризмом моих публикаций, их разбросанностью я хотел бы помимо всего остального еще и привлечь к себе внимание моих потенциальных читателей, расширить их круг.

28/XII 62

*Глубокоуважаемый  
Владимир Николаевич!*

*Поздравляем Вас с Новым годом, желаем счастья и успеха в Вашей нужной для всех деятельности.*

*Через день после Вашего посещения мой грипп дал неприятные осложнения на легкие и на сердце, и я проболел около месяца<sup>1</sup>. Сейчас я более или менее поправился и могу заняться моими запущенными делами и прежде всего, конечно, письмами.*

*Во время болезни я получил Ваше прекрасное письмо и книгу Марка Щеглова<sup>2</sup>. Затем — гаванские сигары, но ими, увы, я могу пока только полюбоваться, а наслаждение еще впереди (первую сигару я выкурю при встрече Нового года)<sup>3</sup>. Наконец, получил "Тарусские страницы"<sup>4</sup> с изумительными стихами Цветаевой (это — лучшее, что есть в сборнике, хотя и весь он ин-*

тересен). Таким образом, эти недели были наполнены Вами — воспоминаниями о Вас и Ваших дарами. Примите мою глубокую благодарность.

Мне очень хотелось бы обсудить с Вами некоторые вопросы (в частности и по стилистике), но я думаю, что начинать это обсуждение в письме, пожалуй, не стоит. Надо сначала побеседовать устно (ведь Вы обещали приехать весьма скоро), а затем уже можно продолжать и письменно.

А теперь я хочу злоупотребить Вашей добротой. Недавно вышла книга: М. Гус<sup>1</sup> "Идеи и образы Достоевского" (Гослитиздат, 1962 г.). В Саранск она попадет не скоро (если вообще попадет), но мне необходимо с ней познакомиться, пока еще не сдан в печать мой "Достоевский". Буду Вам очень признателен за ее присылку.

*Елена Александровна шлет Вам сердечный привет.*

*Итак, до скорого свидания.*

*С глубоким уважением*

*М. Бахтин*

---

<sup>1</sup> Через день после Вашего посещения мой грипп дал неприятные осложнения на легкие и на сердце, и я проболел около месяца.— Впервые я посетил Михаила Михайловича и Елену Александровну Бахтиных в двадцатых числах ноября 1962 года. Если грипп "дал осложнения" через день после моего отъезда из Саранска, значит, в день моего первого разговора с ним Бахтин был болен. Остается лишний раз восхититься его самообладанием и его деликатностью: догадаться об его недомогании было невозможно.

Мне уже приходилось писать о том, что чета Бахтиных всю жизнь провела на грани, на пороге голода. Под угрозой голода, но так, что эта угроза для них все же никогда не становилась реальностью, скажем, в той мере, в какой она оказалась реальностью для украинцев в 1933 году или для жителей осажденного Ленинграда (Санкт-Петербурга?) в 1941-1942 г. Я не сомневаюсь в том, что форсирование всевозможных пиришествянных мотивов, мотивов сытости в трудах Михаила Михайловича соотносимо с этим примечательным обстоятельством.

Голод — простой и наиболее проверенный способ, которым правители всех времен держали в повиновении и отдельного человека, и целые сословия, классы, нации. Однако вплоть до начала XX века ни один правитель не посягал на источник жизни по-своему даже более важный, чем хлеб и вода: на воздух, на дыхание человека. Рабы античности и русские крепостные крестьяне как бы то ни было могли дышать беспрепятственно; и Радишев резонно расточал по этому поводу свои классические сарказмы: помещики, звери алчные, оставляют крестьянину токмо воздух. И его действительно оставляли: он не мог превратиться в предмет купли-продажи, отнимать его у человека не умели и не хотели.

Но XX век по праву должен войти в историю как начало эпохи всемерного удушения людей другими людьми, эпохи борьбы за глоток воздуха. Первая мировая война ознаменовалась изобретением боевых отравляющих веществ, попросту сказать, газов; и уже на втором ее году удушение людей стало принимать массовый характер. Век оставит истории и память о газовых камерах в немецко-фашистских лагерях уничтожения.

Метафоры и реальность связаны тесней, чем мы полагаем. Метафора не налагается на реальность, не привносится в нее извне, оставаясь по отношению к ней чем-то факультативным; нет, она сплошь и рядом становится как бы каркасом, на который “натягиваются” последующие события. И напротив, события, совершившись, как бы предсказывают человеку или народу их будущее; эти события повторяются, но повторяются уже в иносказательном смысле.

Люди говорят о духовной жажде и о духовной пище. Говорят они и, положим, об удушении реакцией передовых идей, об удушении мысли. Выбрать именно эти метафоры им подсказывает безошибочное художественное чутье. Типичной для нашей современности представляется мне жизнь великого русского писателя Михаила Зощенко: будучи отравлен газами на фронте Первой мировой войны, через тридцать лет он попал под новый поток отравляющих веществ, ОВ, но уже в переносном смысле: ядовитые миазмы речей и доклада одного только Андрея Жданова, надо полагать, ни в чем не уступали фосгену. Удушение людей на фронтах войны было реалией, которая предвляла предстоящее России лишение интеллектуального воздуха. С конца 1917 года мысли был, как теперь говорят, перекрыт кислород.

Был Бахтин, поставленный на грань голодания. А был и Бахтин, систематически претерпевавший удушье.

Вероятно, жизни человека сопутствуют реалии, которые то и дело переходят в метафоры, и метафоры, становящиеся реалиями. Сами не замечая этого мы балансируем между ними.

Бахтин остро ощущал свою связь с бытием и посредством дыхания, через легкие. Вряд ли кому-либо из нас удастся выявить всю глубину и разветвленность ее, однако же обратить на нее внимание совершенно необходимо.

<sup>2</sup> ...книгу Марка Щеглова.— Щеглов Марк Александрович (1925-1956), аспирант кафедры истории русской литературы филологического факультета Московского университета, выдающийся литературный критик. Появление статей Щеглова в 1953 году на страницах “Нового мира” мгновенно стало сенсацией; хотелось верить в то, что они знаменуют собою начало радикального обновления всей духовной жизни страны. Допускали такую возможность и в противоположном, в литературно-большевистском лагере; здесь выступления Щеглова вызывали неизменное раздражение, доходившее порою до ярости.

В данном случае речь идет о книге: Щеглов М. Литературно-критические статьи. М.: “Советский писатель”, 1958.

<sup>3</sup> ...Первую сигару я выкурю при встрече Нового года.— Здесь — как в пьесе с inferнальным сюжетом: появление на сцене нового действующего лица предвьяется облаком густого ароматного дыма. Сигары бы-

ли присланы из Гаваны, жившей и работавшей там Леонтиной Мелиховой, выпускницей филологического факультета. С лета 1963 года она входит в спонтанно сложившееся окружение четы Бахтиных и становится их наиболее деятельным попечителем.

Курил Бахтин исключительно много, сигарету за сигаретой. Над всеми вещаниями о вреде курения он неизменно посмеивался. Я не знаю, как сочетается столь ревностное и, осмелюсь сказать, даже посвоему вдохновенное курение с осознаваемой им слабостью его легких, а далее и со всей атмосферой затхлости, духоты, в которой он жил и творил. Одно ясно: курящий человек может явиться только на свободе, он не скован никакими дополнительными по отношению к существующим запретами; и быть может, этим с избытком возмещается физиологический вред курения.

<sup>4</sup> *Наконец, получил "Тарусские страницы"...*— "Тарусские страницы"—"литературно-художественный иллюстрированный сборник", Калуга, 1961. Этот сборник, неожиданно появившийся в провинциальной Калуге, стал еще одной вехой на пути русской мысли к освобождению. Он включал в себя произведения молодых в те поры писателей и поэтов, вскоре ставших нашими классиками: Юрий Трифонов, Булат Окуджава, Наум Коржавин. Наследство наше было представлено здесь произведениями Николая Заболоцкого и Марины Цветаевой.

<sup>5</sup> *Недавно вышла книга: М. Гус...*— Речь идет о монографии Михаила Гуса "Идеи и образы Достоевского", М., 1962. Разумеется, более чем скромная просьба моего корреспондента была удовлетворена, и книгу он получил. Мнение его о ней — в одном из его писем начала 1963 года. Это письмо в соответствии со сформулированной мной логикой антипорядка я публикую в находящемся сейчас в производстве втором выпуске "Бахтинских чтений", редактируемых Виталием Махлиным.